

9. Плеханов, как историк русской общественной мысли.

Точка зрения Плеханова на русский исторический процесс.—История России—история колонизирующейся страны.—Разрыв между европеизованными верхами и азиатскими низами.—Пролетариат России, как европеизованный народ.—Изображение Плехановым движения русской общественной мысли по екатерининскую эпоху.—Плеханов и Чаадаев.—Плеханов и Герцен.—Плеханов и Белинский.—Плеханов и Чернышевский.

I.

О Г. В. Плеханове, как историке русской общественной мысли, можно говорить в двояком смысле слова: узком и широком. Если-б мы ограничили свою задачу узким смыслом слова, нам пришлось бы говорить о Плеханове, лишь как об авторе «Истории русской общественной мысли». Для того же, чтобы охарактеризовать Г. В., как историка русской общественной мысли в широком смысле слова, надо остановиться на нем и как на исследователе ряда этапов в развитии русской общественной мысли XIX века.

При рассуждениях о Плеханове, как авторе «Истории», надлежит соблюдать сугубую осторожность, памятуя, что замысел Г. В. дать фундаментальный труд по истории русского общественного сознания, начиная с допетровской эпохи и кончая десятилетиями XIX века, осуществлен лишь в малой части. Обстоятельство это должно предостерегать от решительных приговоров над «Историей русской общественной мысли» всякого, не берущегося судить по четырем стенам первого этажа о достижениях архитектора, творческий замысел которого заключался в возведении величественного многоэтажного здания.*)

Имеющаяся в нашем распоряжении часть «Истории» ценна тем, что содержит в себе изложение общих взглядов Г. В. на русский общественный процесс. Понятно, что поскольку Плеханов задался в своем труде целью

*) Так поступали некоторые суровые, но довольно не убедительные в своих рассуждениях критики плехановской «Истории» (см. напр. рецензию А. Кудрявцева в журнале «Летопись» за 1916 г. № 11 и книгу М. В. Нечкиной «Русская история в освещении экономического материализма», Казань, 1922 г. гл. IV.

исследовать развитие русского общественного сознания, он мыслил это сознание, как находившееся в зависимости от соответствующего общественного бытия. Бытие определяет сознание—эта центральная теорема диалектического материализма не могла не быть отправным пунктом Г. В. при исследовании им процесса развития русской общественной мысли. Раз так, то Плеханов считал необходимым в качестве введения к своему труду установить основные точки зрения на русский исторический процесс, на то бытие, под влиянием которого развивалось русское общественное сознание, на тот ход вещей, который обусловил собою ход идей, избранных Плехановым предметом своего исследования.

Тождествен ли русский исторический процесс историческому процессу Западной Европы или же он представляет собой совершенно самобытное явление? Таков коренной вопрос, ответ на который с самого почти начала прошлого века разделял представителей русской исторической науки на противоположные лагеря и который возбуждал страстные споры в самых широких кругах российской интеллигенции. В течение многих десятилетий в русской историографии безраздельно господствовало мнение о полном своеобразии русского исторического процесса. Это мнение вербовало своих адептов в самых различных социально политических группировках,—начиная славянофилами 40-х годов и кончая народниками конца XIX века,—каждая из которых на свой особый лад твердила, что «умом России не понять, аршином общим не измерить,—у ней особенная статья». С течением времени, однако, под влиянием различных факторов, первым из которых является зарождение в России капитализма, мнение о коренном противоречии между историческими судьбами России и европейского Запада, начинает подвергаться ревизии. В противовес установившемуся взгляду на самобытность русского исторического процесса начинает выдвигаться взгляд на русскую историю, как на процесс аналогичный, пережитому Западом. Россия начинает рассматриваться как европейская страна, лишенная какой-то, самобытной «статии», как страна подлежащая измерению европейским историческим аршином.

Приступая к своему исследованию по истории русской общественной мысли, Г. В. Плеханов считал необходимым раньше всего подвести итог имеющимся в распоряжении науки данным по вопросу об исторической самобытности России. «Похожа ли история России на историю Западной Европы?»—этим вопросом Плеханов и открыл свой очерк развития русских общественных отношений, являющийся введением в «Историю».

Отвечая на поставленный вопрос, Г. В. Плеханов солидаризуется с Н. П. Павловым-Сильванским, который в результате своих замечательных изысканий по русскому феодализму отверг укоренившееся представление о полном своеобразии русского исторического процесса и установил глубокую аналогию между западно-европейским и русским феодализмом. Плеханов, однако, солидаризуется с Павловым-Сильванским лишь частично: он признает его правоту постольку, поскольку талантливый историк восстает против ложного представления о полном своеобразии русского исторического процесса. Однако, является чрезвычайно ошибочным, отвергая абсолютную самобытность русской истории, ударяться в другую крайность: объявлять русский исторический процесс лишенным элементов своеобразия, отождествлять его с западно-европейским историческим процессом. Надо помнить, что «там где отсутствует коренное несходство, может быть на лицо несходство второстепенное, придающее все таки достойное замечания «своеобразие изучаемому процессу». Поэтому отрицательное,—и, в общем, очень удовлетворительное у Павлова-Сильванского,—решение старого вопроса о полном своеобразии русского исторического процесса еще отнюдь не исключает вопроса об его относительном своеобразии.» *)

Отвергая и теорию чистого своеобразия русского исторического процесса и теорию полного тождества этого процесса с западно-европейским, Г. В. выступает защитником того положения, что русский исторический процесс, совпадающий в своих основных тенденциях с западно-европейским, отличается все же от последнего некоторым относительным своеобразием. Русское обще-

*) История русской обществ. мысли. М. 1918. Т. I, стр. 9.

ственное развитие отличается некоторыми, правда не первостепенными, историческими особенностями, но и эти второстепенные особенности не должны остаться за полем зрения исследователя. Эти особенности в целом ряде моментов отдалают Россию от европейского Запада и приближают ее к азиатскому Востоку. Совершая в общем тот же путь, что и прочие европейские государства, Россия, однако, на своем историческом пути нередко уклонялась в сторону восточных деспотий. Таким образом Россия, на протяжении всей ее истории, по характерному выражению Плеханова, как-бы колеблется между Западом и Востоком. Характер этого колебания изменяется от одной исторической эпохи к другой. В Московский период эти колебания гораздо значительнее, чем в киевский. После петровской эпохи они начинают уменьшаться—по мере ускорения и углубления процесса европеизации России. Эта последняя фаза европеизации России далеко еще не закончена и в наши дни, писал Плеханов накануне революции семнадцатого года.

В чем же усматривал Плеханов относительное своеобразие русского исторического процесса? В характере классовой борьбы, определявшей собою исторический ход развития русского общества. Крупнейший авторитет русской исторической науки В. О. Ключевский уж подчеркнул, что классовые отношения в России развертывались иначе, чем на Западе. Но в объяснении этого правильно подмеченного им факта он оказался бессильным или, вернее сказать, он дал ему совершенно несостоятельное объяснение. Классовые отношения на Западе и в России развивались, по мнению В. О. Ключевского, различно—поскольку на Западе «экономический момент» всегда предшествовал «моменту» политическому, в России же имело место обратное явление: здесь «политика» предшествовала «экономике» или же «политика» и «экономика» в своем взаимном предшествовании чередовались (смешанный процесс—по терминологии проф. Ключевского). Построенная Ключевским схема развития классовых отношений в России на основе смешанного процесса была подвергнута Плехановым критической проверке, в результате которой он заявлял, что эта схема находится в жестоком противоре-

чии с историческими фактами. «В действительности, политический «момент» никогда и нигде не идет впереди экономического; он всегда обуславливается этим последним, что нисколько не мешает ему, впрочем, оказывать на него обратное влияние».*)

Вслед за взглядом В. О. Ключевского на развитие русских общественных отношений и на роль экономического и политического моментов в истории Руси, Г. В. прошупал своим марксистским зондом и теории некоторых других авторитетов русской исторической науки, строивших те или иные гипотезы по вопросу о своеобразии русского исторического процесса.

В ряду этих гипотез внимание Плеханова приковали раньше всего взгляды С. М. Соловьева, основывавшего свое объяснение русской исторической самобытности на свойствах географической среды и противоставлявшего западно-европейскому камню русское дерево. Плеханов показал, что гипотеза Соловьева не выдерживает критики фактов и не выдерживает ее прежде всего потому, что Европа отнюдь не была на протяжении всей своей истории каменной, как думает Соловьев, а роль дерева в русской истории также не так велика, как утверждает Соловьев. Соловьев мыслит влияние географической среды на народ не посредством, между тем, как в действительном: климат и природа лишь через развитие производительных сил влияют на исторические судьбы народа.

Плеханов останавливается и на вопросе, издавна концентрирующем на себе внимание историков: о влиянии, которое оказали нашествия кочевников на течение русского исторического процесса. Г. В. предварительно задается вопросом о том, как это могло случиться, что земледельческая Русь была покорена восточными кочевниками, стоявшими на более низкой ступени экономического развития. Ведь экономически более развитое общество владеет и военной техникой более высокой формации, а в военной технике—основной фактор победы. По этому поводу, как известно, в

*) Op. cit, Т. I, стр. 24.

нашей исторической науке был сделан ряд предположений.

В. А. Келтуяла, напр., считает, что Русь до половины тринадцатого века была не земледельческим, а охотничье-торговым государством. Татары же были скотоводами, т. е. находились в более высокой фазе экономического развития, чем жители юго-восточной Руси. Таким образом, победа монголов-скотоводов над русскими охотниками представляет собою вполне нормальный случай подчинения экономически более развитым обществом общества менее развитого. Плеханов подверг мысль В. А. Келтуялы тщательному анализу, который убедил его в ее несостоятельности и противоречии фактам. Русь была ко времени татарского нашествия страной земледельческой—таков вывод, к которому пришел Плеханов.

Как же тогда быть? Мы имеем перед собою, мол, конфликт материалистического объяснения истории с установленным фактом: подчинение экономически более развитого общества обществу отсталому. Однако, этот конфликт не действительный, а мнимый. Он вырисовывается лишь в воображении тех, кто механически воспринимает исторический материализм, кто вульгаризирует марксову теорию. Исследователь же, овладевший марксистским методом с той глубиной, которую этот метод требует от своих последователей, не будет смущаться тем фактом, что скотоводы-татары покорили русских земледельцев: «Этот факт так же мало противоречит материалистическому объяснению истории, как движение вверх шара, наполненного газом, более легким, нежели атмосферный воздух, опровергает теорию тяготения. В каждом из этих двух случаев перед нами лишь мнимый парадокс». *)

Если общество подымается с более низкой на более высокую экономическую ступень, то оно тем самым делает шаг вперед. Но это продвижение вперед не следует понимать как автоматически одновременно совершающееся во всех областях. При общем продвижении общества вперед, при его общем прогрессе возможен частичный временный застой или даже регресс.

*) Т. I, Стр. 42.

Изменился общественный базис, общество поддалось вперед, однако те или иные этажи надстройки могут в течение некоторого времени оставаться теми же, что и были. В некоторых областях общество может задержаться в своем развитии или даже попытаться назад. Переход Руси к земледелию и связанная с ним дифференциация общественного труда, могли вызвать относительную слабость русских в областях военной организации. Кочевники же—татары—были поголовно воинами. Более примитивная организация, постоянная напряженная борьба, привычка к переходам с места на место,—все это могло обусловить победу монголов-охотников над русскими земледельцами. Никакого опровержения исторического материализма в этом историческом факте усмотреть нельзя.

Плеханов видит в натиске, которому Русь веками подверглась со стороны своих соседей кочевников, один из фактов, обусловивших относительное своеобразие русского исторического процесса. Расходясь в этом отношении с таким авторитетом в области марксистского исследования русской истории, как М. Н. Покровский, Плеханов считает роль, сыгранную татарским нашествием в развитии России, весьма значительной. Сводит он ее к следующему.

Натиск кочевников отеснил население Руси от берегов Черного моря. Обстоятельство это, замедлившее в высокой степени темп экономического развития Руси, усугублялось еще периодическими нападениями монголов на торговые караваны, направлявшиеся из Руси в страны, лежащие на юге. Наконец, налеты кочевников на города и селения дезорганизовывали нормальное течение жизни в границах Руси. Все это тормазило хозяйственное развитие страны. Пагубные последствия многовекового натиска монголов особенно сказались на низах русского общества, где накапливалось большое количество хозяйственно-неустойчивых элементов, попадавших в зависимость от верхов, владевших значительными богатствами. Процесс подчинения трудящихся масс ростовщическому капиталу под влиянием натиска татар ускорился. «Многовековый натиск кочевников»,—говорит Плеханов,—«замедлял рост тех производительных сил, которыми располагало оседлое население

Руси, ...замедление их роста в свою очередь задерживало процесс возникновения в ней влиятельного класса держателей земли и определенных норм политической жизни». *) Натиск кочевников ослаблял значение боярства в жизни Руси. Тем самым увеличивался удельный вес князя, роль которого в глазах населения становилась тем более значительной, что князь выдвигался обстоятельствами на ответственный пост руководителя обороны государства, его «военного сторожа», по выражению В. О. Ключевского.

Перманентный натиск кочевников на юго-западную Русь расшатал ее и без того слабые хозяйственные устои. Татарское нашествие, бывшее наиболее драматическим эпизодом этого длительного процесса, нанесло, по мнению Плеханова, юго-западной Руси окончательный удар, заставив центр русской исторической жизни перенестись с юго-запада на северо-восток. То многостороннее влияние, которое оказывал натиск кочевников на юго-западную Русь и на характеристике которого Плехановым мы остановились выше, сблизило общественный быт Руси с бытом и строем восточных деспотий. Спрашивается, какой характер приобрел этот быт с перенесением центра русской исторической жизни на северо-восток—в бассейн Оки и Верхней Волги.

Наиболее характерной стороной общественного быта Руси в новый период ее развития, Плеханов считает то, что здесь «положение русского крестьянина мало-помалу сделалось очень похожим на положение крестьянина любой из великих восточных деспотий.**») Каким же образом протекал в северо-восточной Руси процесс закрепощения крестьянства, сделавшийся, по утверждению Г. В., новым этапом в отдалении России от Запада и приближении ее к Востоку?

Уже с XII века северо-восточная Русь заселяется выходцами из Руси юго-западной: то были смерды и холопы, бежавшие на север от своих господ-бояр и «лепших» людей. На первых порах беглецы, прибывавшие с юга в северо-восточную Русь, действительно, находили там независимость, к которой они стремились.

*) Т. I., стр. 51.

**») Т. I. стр. 75.

Но то был, однако, незначительный период. С перенесением центра государственной жизни с юга на север изменилось и положение крестьянства.

Новые географические условия диктовали государству предъявление новых более тягостных требований земледельцу, а для обеспечения выполнения этих требований оно увеличивало свою власть над сельским населением. Вот почему «история этого населения в бассейне Волги есть процесс постоянного закрепощения его государству». *)

Земледельческий труд становится в северо-восточной Руси основным базисом «княжеского хозяйства». Но хозяйство это было натуральным. Князь или сам хозяйничал на земле или предоставлял ее своим служивым людям. Это последнее значило, что он предоставлял в его распоряжение труд сидевших на определенном участке земледельцев. По вопросу о пользовании этим трудом, о формах и границах этого пользования и возникали постоянные трения между служивыми людьми и земледельцами. В качестве верховной инстанции обе стороны в таком случае апеллировали к князю. Как же решался вопрос последним?

— А для князя выгоднее всего было решить спорный вопрос так, чтобы, обеспечив себе всю полноту политической власти над служивым человеком, предоставить этому последнему всю широту возможной экономической эксплуатации земледельца. В этом смысле вопрос мало-помалу и был решен внутренней историей северо-восточной Руси. Крепостная зависимость крестьян от помещиков явилась, между прочим, юридическим выражением этого, найденного историей, решения. **)

Логически развиваясь, система закрепощения государством крестьян привела к абсолютному торжеству крепостничества в отношениях между государственной властью и главной рабочей силой государства—крестьянством. Быт русского крестьянина стал тождественным быту земледельца великих восточных деспотий.

*) Т. I, стр. 62.

**») Ibid, стр. 64.

Но государственный быт северо-восточной Руси складывался на манер восточных деспотий не только по отношению к крестьянину. Отношения между государственной властью и служилым населением явно носили на себе восточный отпечаток. Русский феодализм представляет собою несомненный факт, однако он отличается от феодализма западного крепостью сословий государству. Уже к половине XVI века служилое сословие России было закрепощено государству и здесь опять таки, один из наиболее заметных зигзагов, который русский исторический процесс делает по направлению от Запада к Востоку. Надо думать,—говорит Плеханов,—что если бы ожила мумия какого-нибудь «холопа» или дьяка... одного из египетских фараонов, скажем XII династии, и совершила путешествие в Московию, то в противоположность западному барону Герберштейну, она не нашла бы очень много удивительного для себя в общественно-политическом быту этой страны. Она решила бы, что отношения москвитян к верховной власти весьма близкие к тому, что существовало на ее далекой родине, именно, таковы, какими они должны быть в благоустроенной стране. *)

В том, что на Руси государство закрепостило себе не только низший класс-земледельцев, но и высший служилых людей—черта сближающая Россию с восточными деспотиями, однако процесс закрепощения сословий протекал в России несколько иначе, чем на Востоке: он здесь отличался большей остротой, так как географические условия заставляли государство производить значительное давление на закрепощенное население, это заставляли его делать, впрочем, не одни только природные условия, но и соседство с более цивилизованными народами Запада, оборона от которых требовала от государства максимального напряжения сил.

История России является историей страны колониальной и зующейся—это обстоятельство было уже давно подмечено и выявлено исследователями русской исторической жизни; однако, выявляя это обстоятельство, они забыли,—указывает Плеханов,—подчеркнуть, что

*) Т. I, стр. 73.

Россия колонизовалась в условиях натурального хозяйства. Эта особенность наложила свой отпечаток на некоторые важные явления русской общественной жизни. Плеханов проводит интересную параллель между тем, как боролись на Западе городское население и третье сословие с феодальными отношениями и какие формы тот же процесс принял в России.

Русские люди, принадлежавшие к низшему сословию, протестовали против крепостного ярма тем, что бежали в южные степи, где они находились за пределами правительственной власти, державшей их на крепостной цепи. Здесь беглецы окапывались против этой самой власти, а иногда и переходили в наступление на нее. Восставая против общественно-политического уклада Руси, казачество и играло до некоторой степени революционную роль. Однако революционность этой роли очень относительна и говорить о ней можно лишь с большими оговорками. Мы знаем, что в свое время, будучи народником, Г. В. готов был видеть в Булавине, Разине и Пугачеве „титанов народно-революционной обороны“. Анализируя в „Истории русской общественной мысли“ роль, сыгранную казачеством в русской истории, Плеханов отказывается признать ее революционной, ибо самый протест казаков против уклада русской жизни был исторически бесплоден. Восставая против этого уклада, казаки могли в лучшем случае его низложить, разрушить, но они были бессильны поставить на его место другой порядок, основанный на новом способе производства. Здесь опять-таки одно из многочисленных отличий русской истории от западно-европейской, один из „европейских недочетов“ русского исторического процесса. Когда на Западе городские общины и третье сословие восставали против феодализма, они боролись за новые производственные отношения. Когда у нас казачество восставало против старого уклада, его протест был исторически бесплоден.

Существует в русской исторической науке весьма распространенный взгляд на то, что свержение татарского ига и конечная эмансипация России от натиска кочевников знаменует собою победу Европы над Азией.

Плеханов считает такой взгляд несостоятельным. Россия победила кочевников-азиатов к тому времени, когда сложившиеся в ней общественные отношения приблизились, если не сказать отождествились с теми, которые веками господствовали в великих деспотиях Востока. „Стало быть Европа победила „азиатцев“ лишь потому, что сама сделалась Азией“.*) Примеры аналогичных побед крупных земледельческих объединений над кочевниками известны и истории Востока. Однако, счастливая для России особенность ее исторического процесса заставила Россию, уподобившуюся азиатским деспотиям и отстоявшую свою независимость от кочевников, обратиться в сторону Запада. Преодолевая многовековую инерцию, азиатская Русь начала медленно, но неуклонно поворачиваться в сторону европейского Запада.

Экономическая необходимость с середины XVII века начинает уж подтачивать натуральный строй хозяйства, на котором базировался социально-политический уклад Руси, и постепенно заменять его денежным хозяйством. В недрах государства российского начинают накапливаться противоречия, которые достигнув определенного количественного предела, приведут к качественному изменению его облика — скачку от азиатского Востока к европейскому Западу. Этим скачком явились петровские реформы. Преобразования Петра отнюдь не были, как то нередко утверждают, крутой ломкой, шедшей в разрез со всем течением исторической жизни. Петр лишь разрешил ту задачу, которая была поставлена на очередь предыдущим ходом русского общественного процесса, и для разрешения которой созрели необходимые элементы в недрах российской государственности. Петр приступил к решению задачи, поставленной к его времени на очередь всем ходом русского общественного развития: европеизации России. Задача эта решалась не скоропалительно и не без труда, необходимого для преодоления исторической косности: „Неуклюже, неохотно, с огромным трудом, с тяжелыми вздохами поварачивалась к Западу старая московская Обломовка, однако все-таки

*) Т. I, стр. 98.

поварачивалась“... *) Процесс европеизации России осуществлялся туго и медленно и сам реформатор, европеизовавший Россию, был типичным азиатским деспотом. Это звучит парадоксально, но таков исторический факт: Петр по азиатски европеизовал Россию. Он подобно восточному деспоту не церемонился с имущественными правами жителей государства и беспощадно нарушал их тогда, когда этого только требовало государственное преобразование. И небольшую осторожность он соблюдал по отношению к личности подданных. „Европеизируя Россию“, — говорит Плеханов, — „Петр доводил до его крайнего логического конца то бесправие жителей по отношению к государству, которое характеризует собою восточные деспотии.“**)

Одной из важнейших петровских реформ было преобразование армии на западный лад, преобразование это совершалось на фоне начавшегося сдвига страны от натурального хозяйства и повлекло за собою переход от натуральной (земельной) оплаты служилого класса за военную службу к денежному вознаграждению, к жалованью. Тем самым чрезвычайно осложнились общественные отношения, господствовавшие в России. Высшее сословие, переведенное на денежное жалованье, должно было лишиться земли или стать в новые отношения к ней. На первое, конечно, оно не могло согласиться и оно использовало свое положение, свою близость к государственному аппарату, чтобы поставить себя в новое, привилегированное положение. При Анне Ивановне начался и при Екатерине Второй закончился процесс раскрепощения русского дворянства. Тем самым разрушилось то формальное оправдание, которым прикрывалось закрепощение крестьян: необходимость экономически обеспечить дворянство возможность нести военную службу. «Когда дворяне были раскрепощены» — подчеркивает Плеханов, — «крестьяне решили, что теперь очередь за ними, так как теперь их временно-подневольный труд лишился всякого смысла». ***)

*) Т. II, стр. 69.

**) Т. II, стр. 94.

***) Т. I, стр. 108.

Со времени раскрепощения дворянства крестьяне ждут, как естественного следствия, их собственного освобождения. Это освобождение должно было, по их представлению, быть провозглашенным, подобно раскрепощению дворян, с высоты царского трона. Если, однако, акта об освобождении, вопреки чаянию крестьян, не следовало, то это понималось как результат противодействия помещиков, не давших царю осуществить долга справедливости. Это сознание, прочно внедрившееся в крестьянскую массу, нередко переходило из пассивной враждебности по отношению к помещику, в открытую борьбу с ним — в восстания, бунты, аграрные беспорядки. Враждебное помещику крестьянство верило в царя, — от него оно в течение многих десятилетий ждало своего освобождения. Эта присущая русскому крестьянству психологическая черта, порожденная общественно-политическим бытом Руси, колебавшейся между Западом и Востоком, оказывала огромное влияние на общественные отношения России в течении всего последнего периода ее истории. Дворянство отлично учитывало приверженность крестьян монарху, дворяне считали, что их попытки ограничить абсолютность монархической власти разобьются о ту поддержку, которое крестьянство несомненно окажет самодержавию в его борьбе с дворянином-помещиком. Вместе с тем те же дворяне понимали, что дружба с монархом упрочит их безопасность по отношению к „покушениям“ на землю со стороны крестьянства. Таким образом волей сложившихся в России своеобразных классовых отношений самодержавие было поставлено на долгие годы в исключительно благоприятные условия:

— ...наш монархический строй был прочен совсем не отсутствием у нас борьбы классов... а именно ее наличностью. Но одной из замечательных особенностей русского исторического процесса явился тот факт, что наша борьба классов чаще всего остававшаяся в открытом состоянии, в течении очень долгого времени не только не колебалась существовавшего у нас политического порядка, а, напротив, чрезвычайно упрочивала его.*)

*) Т. I, стр. 110.

Мы уже указывали выше, что, по мнению Плеханова, характернейшей особенностью допетровской России, сближавшей ее с великими деспотиями Востока, является закрепощение сословий государству. С Петра отношения между государством и сословиями начинают изменяться. Петровские реформы обуславливают вскоре осуществленное раскрепощение дворянства. С раскрепощением дворянства оно перестает играть роль служилого класса восточных деспотий — положение его отныне отождествляется с положением высших сословий в абсолютных монархиях Запада. Что же касается положения крестьянства, то последнее не только не раскрепощается, но его крепостное ярмо в петербургский период все увеличивается. Таким образом, положение всего крестьянства все более приближается к положению восточного серва, в то время, когда положение русского дворянства круто изменилось в сторону Запада. Тем самым сделался неизбежным разрыв между народными низами и дворянскими верхами, являющийся одним из наиболее существенных моментов новой русской истории. Этот разрыв, имевший место в большинстве западных государств и вполне естественный в виду классового антагонизма верхов и низов, в России принял особо острые и своеобразные формы.

Но „сблизив с Западом высшее сословие и отдалив от него низшее, петровская реформа тем самым увеличила недоверие этого последнего ко всему тому, что шло к нам из Европы. Недоверие к иностранцу помножалось на недоверие к эксплуататору“.*)

Пропасть, образовавшаяся между низами и верхами, являлась и пропастью между народом и интеллигенцией. Разрыв между народной массой и европеизированной интеллигенцией — один из фактов наиболее чреватых последствиями для всего хода русской общественной мысли. Этот факт загнал русскую общественную мысль ко второй половине XIX века в тупик, выхода из которого российская интеллигенция так и не могла найти. Выход создался лишь тогда, когда наряду с европеизированной интеллигенцией в России начал появляться и европеизованный народ. Этот народ, повернувшийся от

*) Т. I, стр. 117.

Востока к Западу, вышел на русскую историческую арену, как результат внедрения в Россию капитализма, создавшего в нашей стране общественные отношения, аналогичные тем, которые господствовали на Западе. Этим европеизованным народом явился русский пролетариат.

Русский рабочий класс вскоре после своего рождения выступил на тот путь, на который задолго до него ступил уж западный пролетариат: на путь борьбы с капиталом, на путь сокрушения старых, отживших форм общественного уклада. Этот класс стал одною из тех двух сил, которые вызвали революцию девятьсот пятого года. Другою из этих сил было крестьянство, добывавшееся земли, стремившееся к „черному переделу“. „Пока и поскольку эти две силы действовали в одном направлении, до тех пор и постольку побеждала революция. Но разнородные по своей природе, они не могли долго действовать вместе: движение русской крестьянской Азии лишь на короткое время совпало с движением русской рабочей Европы. Когда они перестали действовать вместе, стала торжествовать реакция, т. е. стало побеждать дворянство.“*) Что касается появившейся на исторической сцене наряду с пролетариатом буржуазии, то Плеханов подчеркивает здесь еще одну черту, характерную для относительного своеобразия русского исторического процесса. Русская буржуазия была несравненно менее революционной нежели ее европейская сестра. Она выросла в атмосфере „сделок“ с правительством, выклянчивания „гарантий“ и „субсидий“, что, конечно, не способствовало выработке в ней революционного темперамента.

С нарождением капитализма Россия безвозвратно ступила на путь европеизации. На этом пути она может проявить некоторые своеобразные особенности, но повернуть назад с него она уже не сможет—этого не позволят развившиеся в ней общественные отношения. Если, однако, доведение до логического конца процесса европеизации России тормозится (на языке того времени, когда Плеханов писал свою „Историю“ это значило: если революционное уничтожение азиатско-кре-

*) Ibid. Стр. 125.

постнического режима задерживается), то это объясняется одной из несчастных особенностей русской истории:

— ...русское полицейское государство было достаточно европеизовано для того, чтобы пользоваться в своей борьбе с новаторами почти всеми завоеваниями европейской техники, между тем, как наши новаторы только с недавнего времени стали опираться на народную массу, которая... европеизована только в лице одной своей,—пролетарской,—части. Россия платится за то, что она слишком европеизована сравнительно с Азией и недостаточно европеизована сравнительно с Европой.*)

Еще не совсем обсохла та типографская краска, которой были напечатаны эти слова, как переживший себя самого азиатский режим был сметен великой революцией. Внешний азиат, так долго задерживавшийся на русской исторической сцене, был безвозвратно побежден новыми общественными отношениями. Тем более трудной оказалась для победоносного новатора—рабочего класса—борьба с прочно внедрившимся в нашу жизнь „азиатом внутренним“—обломовщиной, халатностью, некультурностью. Не раз на протяжении революции мертвый хватал живого, не раз на пути российского пролетариата,—передовой колонны европейского рабочего класса—казалось непреодолимым препятствием являлась азиатчина—тяжкое наследство разложившегося общественного уклада. Требовалась гениальная стратегия вождей революции для того, чтобы это препятствие не оказалось роковым.

„Очерком развития русских общественных отношений“ Плеханов обосновал свою точку зрения на важнейшие моменты русского исторического процесса. Очерк содержит в себе, так сказать, плехановскую философию русской истории. Против философско-исторических воззрений Г. В. был выдвинут ряд возражений, на некоторых из которых будет не лишним кратко остановиться.

„Г. Плеханов предлагает свести очень сложный исторический вопрос—писал в свое время А. А. Кизеветтер,— к математически прямолинейной формуле:

*) Т. I, стр. 130.

Россия=Европа+Азия; следовательно, за вычетом из России всего европейского, весь остаток целиком объясняется из русской азиатчины. Все ясно и осязательно-наглядно". Даже того краткого изложения плехановской философии русской истории, которое мы дали, будет достаточно, думается нам, для того, чтобы признать Плеханова свободным от обвинения в схематическом упрощении русского исторического процесса. Нигде на протяжении „Очерка“ Плеханов не прибегнул к метафизическому противопоставлению понятия Европы понятию Азии и меньше всего погрешил он рассуждениями по формуле „что не Европа, то Азия“ и т. д. Наоборот,—Плеханов старается в каждом этапе русской истории найти элементы, имевшиеся в общественно-политическом быте западных монархий или восточных деспотий, и на основании произведенного им, таким образом, анализа провести аналогию между русским общественным процессом и теми типами исторического развития, которые оказывали свое влияние на историческое бытие России. Есть ли это метафизическая прямолинейность или диалектическое рассмотрение исторического процесса во всей его сложности и извилистости?

Далее, Плеханова упрекали в том, что он воскрешает старую, шлёцеровскую периодизацию русской истории и выделяет эпоху Петра как переломный момент в русской истории, превращает ее в искусственную грань нашего общественного развития и т. д.*) Между тем, Плеханов как нельзя более далек от такой искусственной, метафизической периодизации, которая отличает схему Шлёцера. Как мы уже видели, петровская реформа рассматривается Плехановым исключительно, как результат длительного процесса, принудившего Россию во имя сохранения ее независимости перестроить свое общественное бытие. Если петровская реформа и является в глазах Плеханова историческим скачком, то он энергично подчеркивает, что этот скачок был результатом предшествующего накоп-

*) Такой упрек был сделан Плеханову, напр., в историографическом очерке М. В. Нечкиной „Русская история в освещении экономического материализма“ Казань 1922 г.

ления элементов, породивших преобразование страны. Таким образом между Плехановым и теми исследователями, которые рассматривают петровскую реформу, как рожденную лишь волею великого преобразователя „мощным гением Петра“, — непроходимая пропасть.

Обвиняли еще Плеханова и в том, что он оперирует совершенно неопределенным термином „Восток“, вследствие чего его центральная антитеза Восток—Запад является туманной и шаткой.**) Если Плеханов и не дает словесно-формального определения понятия „Восток“, то из всего текста его работы явствует в каком смысле употребляет он это слово. Термином „Восток“ Плеханов характеризует социально-политический быт, типичный для великих деспотий Азии и Африки (Египет) и элементы которого он отыскивает в укладе русской общественной жизни. Никакой туманности и шаткости в определении не имеется.

Наиболее суровое слово, направленное против Плеханова, как автора „Истории русской общественной мысли“ принадлежит М. Н. Покровскому, рассматривающему „Историю“, как упадочное произведение, вышедшее из-под пера человека, бывшего идеологом пролетариата и ставшего идеологом технической интеллигенции, служащей капиталу—идеологом обранных слуг класса предпринимателей. „Этому слою нужен был свой идеолог—и он нашел его в лице Плеханова после 1905 г.“ (***) (Подчеркнуто мною—С.В.). Мне думается, что так говоря тов. М. Н. Покровский жестоко ошибается.

Говорить о Плеханове после 1905 г. как о бывшем идеологе пролетариата — недопустимо. Разве Плеханов не после 1905 г. вписал в историю своей жизни героическую страницу борьбы с ликвидаторством за партию рабочего класса, разве не после 1905 г. был он „певцом подполья“?. Разве не после 1905 г. выступал Плеханов как убежденный защитник заветов революционного марксизма на кон-

*) Так, напр., заявлял А. Кудрявцев в № 11 „Летописи“ за 1916 г.

**) М. Н. Покровский. Борьба классов и русская историческая литература, Пгг. 1923 г. стр. 109.

грессах Интернационала (Штуттгарт, Копенгаген)? Разве, наконец, не после 1905 г. Плеханов выступал как один из самых выдающихся в международном рабочем движении знаменосцев воинствующего материализма—страстный борец со всякими философскими, религиозными и иными искажениями марксизма?.. Стоит читателю вспомнить о множестве фактов из деятельности Г. В. Плеханова после 1905 г. для того, чтобы иметь веские основания не согласиться с М. Н. Покровским, когда он говорит, что после 1905 года Плеханов обосновывал «не поступательные стремления пролетариата, а оборонительные со всех сторон стремления того общественного слоя, который командовал пролетариатом от имени капитала, но не прочь был стать командиром и от своего собственного имени»*) „Историю русской общественной мысли“ Плеханов писал как раз в то время, когда он находился „под градусом“, пуль, которыми его осыпали из оппортунистического лагеря.

Не прав тов. М. Н. Покровский и в некоторых своих отдельных указаниях на дефекты плехановской „Истории“.

Так, напр., М. Н. полагает, что Плеханов выдвигал формально-политический момент в русском историческом процессе с целью оправдать им меньшевистскую позицию в вопросе о захвате власти и подкрепить даже кадетские воззрения на конституцию. В действительности же выпячивание формально-политического момента не могло сослужить Плеханову никакой службы для оправдания его позиции в эпоху Первой революции. В 1904—6 годах Плеханов „вовсе не отгораживался от „экономики“ во имя «чистой политики». Наоборот, он в то время постоянно аргументировал соображениями от экономики, ссылаясь на неизбежные экономические отношения, на естественные фазы экономического развития, и т. д. Потому позиция Плеханова в 1904—6 годах и его философия русской истории, изложенная им в 1912-13 г.г., думается нам,—две вещи разные.

Далее М. Н. Покровский ставит в вину Плеханову, что он отодвигает роль классовой борьбы в рус-

*) Ibidem.

ской истории на задний план, считая, что эта борьба в ее открытой форме не характерна для русского исторического процесса. Тов. М. Н. Покровский цитирует слова Плеханова из его «Введения», в котором он рассматривает, как своеобразную особенность русской истории тот факт, что „наша борьба классов, чаще всего остававшаяся в скрытом состоянии, в течение очень долгого времени не только не колебала существовавшего у нас политического порядка, а напротив чрезвычайно упрочивала его“. Но ведь фразе, цитируемой тов. Покровским, предшествует другая, гласящая, что «наш монархический строй был прочен совсем не отсутствием у нас борьбы классов, ...а именно ее наличностью». И эти последние слова являются у Плеханова отнюдь не случайно оброненной фразой, а мыслью, наложившей свой отпечаток на построение всей плехановской „Истории“

Единственный заслуживающий внимание тяжелый упрек, который можно направить по адресу Плеханова—автора «Истории русской общественной мысли» это сделанное им во „Введении“ указание на то, что основным фактором общественного процесса является классовая борьба и классовое сотрудничество. „Ход развития всякого данного общества, разделенного на классы, определяется ходом развития этих классов и их взаимными отношениями, т. е., во-первых, их взаимной борьбой там, где дело касается внутреннего общественного устройства, и во-вторых, их более или менее дружным сотрудничеством там,—где заходит речь о защите страны от внешних нападений“.*)

Этот печальный ляпсус звучит резким диссонансом не только по отношению ко всему тому, что всегда говорил и писал Плеханов о борьбе классов, но и по отношению к тому изложению событий русской общественной жизни и явлений русской общественной мысли, которое он сам дает в „Истории“.

Стоит здесь также отметить, что и в своих статьях, посвященных империалистической войне 14-18 годов, Плеханов неустанно утверждает, что оборона госу-

*) Т. I, стр. 11.

дарства от внешнего врага должна рассматриваться не как сотрудничество классов, а как особая форма классовой борьбы,— „борьба с эксплуататорами по ту сторону границы“. То, что Плеханов сказал во введении в „Историю“, находится в вопиющем противоречии с этими его многократными утверждениями.

Своим „Очерком“ Плеханов дал сжатую и ясную, диалектическую во всех своих построениях, марксистскую схему развития русских общественных отношений. Если в этом „Очерке“ и есть спорные уязвимые места (примерно, утрирование роли татарского нашествия в деле падения Киевской Руси), то все же они не могут умалить того значения, которое по праву следует признать за исследованием Плеханова.

Строго говоря, непосредственным предметом исследования Плеханова является развитие общественного сознания в России, очерк же развития общественных отношений служит, как мы уже указали, лишь введением.

Специальную часть своего исследования Плеханов открывает широко набросанной картиной движения общественной мысли в допетровской Руси. Это движение рассматривается Г. В., как берущее свой исток в четырех высотах: борьба духовной власти со светской, борьба дворянства с боярством, борьба дворянства с духовенством и наконец, борьба царя с боярством. На фоне этого движения Плехановым зарисована длинная галерея носителей общественной мысли—идеологов тех или иных социальных группировок.

Подвигнув далее тщательному анализу влияние, оказанное петровской реформой на ход развития общественной мысли, Плеханов перешел к движению этой мысли и после Петра. Особое внимание было при этом уделено Г. В. изящной литературе периферийной эпохи. Вопреки установившимся взглядам, Плеханов полагает, что первые деятели в области художественного творчества этой эпохи, как Кантемир или Сумароков оказали значительное влияние на процесс европеизации России.

Обратившись к екатерининской эпохе и проследив влияние, оказанное Западом на общественную мысль России XVIII века, Плеханов очень выпукло охаракте-

ризовал противоречия между теорией и практикой Екатерины. Он показал, как эти противоречия влияли на тех передовых интеллигентов екатерининского царствования, у которых „теория порождала отрадные надежды, а практика разбивала их“. Здесь, по его мнению, начало длительного процесса разочарования передовой интеллигенции в самодержавии.

Остановившись на том влиянии, которое французский материализм XVIII века оказал на русскую общественную мысль, Плеханов показал, что анти-материалистическая реакция, наступившая после крушения Великой Революции очень быстро сказалась и на настроении русской интеллигенции. Он особенно внимательно остановился при этом на русском розекрейцестве, в котором, по его слову, рядом с помещиком уживался мистик, оказывая ему необходимую поддержку. Говоря о русских мистиках XVIII века, от которых он, к слову сказать, тянул преемственную нить к мистикам XIX века, Плеханов объяснял наличие в русском мистицизме некоторых своеобразных черт ролью, сыгранной в нем „мещанством“, активным элементом которого были разночинцы и виднейшим идеологом которого явился Н. И. Новиков. Новиков последняя ступень, до которой дошел автор „Истории русской общественной мысли“.

Касаясь специальной части плехановской истории, укажем еще, что она изложена сильным, метким, пластическим языком, что в ней установлен ряд смелых и новых точек зрения на важные моменты развития общественной мысли, что в ней проводятся полные глубокого интереса параллели между западно-европейским и русским общественным сознанием определенных эпох, что в ней даются яркие, образные, блестящие остроумием характеристики отдельных носителей русской общественной мысли.

Задачу составления марксистской истории русской общественной мысли трудом Плеханова, понятно, нельзя считать разрешенной—прежде всего потому, что его замысел был осуществлен в малой части. Составление такого исчерпывающего труда, думается нам, может быть лишь результатом работы большой коллективной группы исследователей-марксистов. Плехановская работа явится в таком случае большой ценностью вкладом в этот

коллективный труд. Не менее ценными элементами такого труда будут и исследования Плеханова, посвященные отдельным носителям русской общественной мысли, к которым с особой любовью и интересом обращался Плеханов.

II.

Если среди представителей русской общественной мысли девятнадцатого века Плеханов чувствовал родственную связь с Белинским и Чернышевским, то из представителей этой мысли в восемнадцатом веке ему был особенно близок А. Н. Радищев.

Уж в своей речи на русском собрании в Женеве в 1900 году, посвященной 75-летию восстания декабристов, Плеханов назвал Радищева самым ярким представителем освободительных стремлений нашего восемнадцатого века.

И не случайно, конечно, говоря в своей посмертной рукописи о Радищеве, Г. В. вспомнил слова Гегеля, который, закончив в своей „Философии истории“ обзорные древнего Востока и перейдя к Западу, сказал: „В Греции мы чувствуем себя как на своей родине“. „Миросозерцание Радищева“,—говорит Плеханов,—„хотя и не тождественно с миросозерцанием передового человека нашего времени,—по весьма понятной причине, тождество является здесь очевидной невозможностью,—однако, связано с ним узами близкого родства. Идеи, на которых он воспитался, были теми идеями, под знаменем которых совершился плодотворный общественный переворот конца XVIII века и которые частью до сих пор сохранили свое значение, а частью послужили теоретическим материалом для выработки нынешних наших понятий“.*)

Плеханов ценил в Радищеве самого выдающегося из русских мыслителей XVIII века, разделявших идеи Великой французской революции. Г. В. высказал ряд представляющих собою глубокий интерес мыслей по вопросу о влиянии, оказанном на Радищева французским материализмом.

*) Цитирую по неопубликованной еще посмертной рукописи.

Он показал, что его учение о развитии человеческого характера было целиком заимствовано у французских материалистов. Революционные идеи французов встретили у Радищева живой отклик. „Екатерина II нашла“,—говорит Плеханов,—„что „Путешествие из Петербурга в Москву“ распространяет французскую заразу. По своему она была совершенно права. Радищев несомненно выступал, как последователь французских революционеров“... Г. В. считал Радищева первым в ряду тех учителей жизни, между которыми впоследствии выдвинулись Чернышевский и Добролюбов. Этим мысли он не успел надлежащим образом обосновать, ибо его исследования о Радищеве оборвались посередине. Но того, что содержится в неоконченной посмертной рукописи Г. В., посвященной Радищеву, достаточно для того, чтобы получить общее представление об отношении Плеханова к первому идеологу русского революционного движения.

Как мы уже говорили, разрыв между европеизированными верхами и народными низами, погрязшими в тине азиатских общественных отношений, которыми их окружил восточно-деспотический режим, оказал мощное влияние на течение русской общественной мысли. Лучшие из представителей этих европеизованных верхов задумывались над положением народной массы, изучали его помощью западно-европейского масштаба. Но их западно-европейская точка зрения не давала им возможности постичь восточно-азиатского быта массы, а тем паче ставить какие-либо прогнозы касательно будущего ее развития. Таким образом создавалась, воистину, трагическая антитеза, жертвой которой сделались наиболее чуткие и передовые носители русской общественной мысли, среди них одним из первых П. Я. Чаадаев.

Вышедшее или, лучше сказать, вырвавшееся из под пера Чаадаева «Философское письмо»—один из самых потрясающих документов, которые знает наша история общественной мысли. В этом полном безысходного пессимизма документе талантливый русский мыслитель огласил те безутешные выводы касательно исторических судеб России, к которым он пришел в результате изучения ее прошлого и наблюдения над ее настоящим.

Географическое положение России, расположившейся между Востоком и Западом, «опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию», должно было сделать нашу страну носительницей двух великих начал—воображения и рассудка, превратить ее в мировой культурный центр. История России говорит о чем-то совершенно другом: «Отшельники в мире, мы ничего ему не дали, ничего не взяли у него, не приобщили ни одной идеи к массе идей человечества... Ведомые злою судьбою, мы... уединились в своих пустынях, не видя ничего происходившего в Европе. Мы не вмешивались в великое дело мира...» Чаадаев, в порыве безнадежного пессимизма, готов верить, что в самой крови русских есть что-то такое, что не дает России стать великой цивилизованной страной. В будущее России верить не приходится, ибо «мы принадлежим к нациям, которые не составляют еще необходимой части человечества». Россия, по приговору Чаадаева, является «каким то пробелом в порядке разумения».

Чем же обусловлен этот воистину трагический пессимизм мыслителя по отношению к народу, частью которого он является, и который он любил крепкой неподдельной любовью? Чаадаев был одним из тех людей, сознание которых подпало под власть европейских идей, рожденных европейскими же общественными отношениями. Россия с ее восточно-азиатскими общественными отношениями не представляла, конечно, благоприятной почвы для реализации этих идей: эти идеи должны были терпеть безжалостное крушение при первом столкновении с российской действительностью. Носители и глашатаи этих идей являлись «лишними людьми», «умными ненужностями». Когда эти «лишние люди», не способные возвыситься еще до материалистического понимания истории, пытались объяснить себе, почему западные идеи, западные порядки не прививаются их родине, то их объяснение было, понятно, до корня идеалистическим. Они объясняли отсталость России, ее варварство, ее культурное бесплодие народным духом, расовыми особенностями, чем то, что таится в самой крови народа. Поскольку Чаадаев и другие лишние люди исходили от такого отправного пункта,—их пессимизм должен был быть и был безысход-

ным. «Если в самой оторванности нашей»,—замечает Плеханов,—«есть,—по мнению Чаадаева,—что-то враждебное совершенствованию, то вряд ли можно думать, что мы станем когда-нибудь великим цивилизованным народом».*)

Таковы выводы, к которым можно прийти на основании «Философского письма», но мы знаем Чаадаева ведь и как автора «Апологии сумасшедшего», как инспириатора книги Ястребцова «О системе наук», как автора представляющей большой интерес переписки с современниками. В этих произведениях Чаадаева проскальзывает и луч надежды на будущее России, вера в то, что «великие идеи, раз настигнув нас, найдут у нас более удобную почву для своего осуществления и воплощения в людях». Чаадаев так верит, полагая, что Россия рано или поздно извлечет все необходимые уроки из европейской истории и тем самым избегнет ошибок, которыми чревата история Запада. В этом отношении Чаадаев является типичным представителем утопического реформаторства с его верою во всемогущую силу субъективной логики руководителей общества. В этом отношении у Чаадаева оказались точки соприкосновения со своими антиподами—славянофилами. Но эти точки соприкосновения только формальные. В действительности Чаадаев был западником до мозга костей, тот самый «русский дух», восторженными апологетами которого выступали славянофилы, был в глазах Чаадаева вековым проклятием русской истории. Страстный глашатаи идеи сближения России с Западом, Чаадаев сыграл в развитии русской общественной мысли, революционную роль,—ему принадлежит то несомненное право быть занесенным в «синодик русского освобождения», которое в свое время оспаривал у Чаадаева М. О. Гершензон. Тот мистический уклон, который временами так сильно дает себя чувствовать в выступлениях Чаадаева, не окрашен в реакционные цвета. Мистицизм Чаадаева был лишь следствием бессилия революционизировать окружающие мыслителя общественные отношения. «Мистицизм»,—говорит Плеханов,—«послужил Чаадаеву наркотическим

*) Пессимизм П. Я. Чаадаева. Критика наших критиков. Стр. 337.

средством, отчасти уменьшавшим его нравственные муки, ослаблявшим на время симптомы его, столь знакомой российскому интеллигенту болезни—безнадежности в борьбе с общественным злом“. Не приходится говорить, что путь мистицизма это тот, по которому Россия может отнюдь не приблизиться, а лишь удалиться от западничества. Путь, ведущий к западничеству диаметрально-противоположен

— Западничество восторжествует у нас,—а отчасти уже торжествует *malgré tout!*—не под знаком мистицизма, а под знаком материализма.*)

III.

Среди представителей русской общественной мысли двое служили предметом особого поклонения и любви со стороны Г. В. Плеханова: эти двое—Виссарион Григорьевич Белинский и Николай Григорьевич Чернышевский.

Раньше, однако, чем обратиться непосредственно к этим великим мыслителям, остановимся еще на отношении Плеханова к третьей из центральных фигур русской общественной мысли XIX века—к Александру Ивановичу Герцену.

В отношении Герцена Плеханова больше всего интересовало его философское мировоззрение, и потому ценность выступлений Г. В., посвященных Герцену, заключается преимущественно в выяснении его философского облика.

Для того, чтобы понять философскую эволюцию Герцена, надо раньше всего уяснить себе отношение Герцена к Гегелю.

Подпав под мощное влияние Гегеля, Герцен воспринял и гегелевское решение кардинальной философской проблемы—об отношении бытия к мышлению. Он решал эту проблему в согласии с верховным принципом Гегеля „Дух вечен, материя всегдашняя форма его инобытия“. Дух Гегеля витает даже над таким произведением Герцена, как его известные „Письма об изучении природы“, рассматриваемые некоторыми историками литературы,

*) П.: Я. Чаадаев. Совр. мир 1908, № 1.

как „реалистический манифест“ Герцена. Детальным анализом этого произведения Плеханов показал, что к середине сороковых годов Герцен был чистокровным идеалистом гегелевской школы.

Гегель, подчинив себе русского мыслителя, заставил его совершить ряд ошибок—прежде всего неправильно решить вопрос о единстве бытия и мышления. Но Гегель не только приводил Герцена к ошибкам, он оказал на его философскую организацию чрезвычайно благотворное влияние. Плеханов считает знакомство Герцена с Гегелем «огромным счастьем». Революционная сторона гегелева учения—диалектика—была самым живым образом воспринята Герценом. Она толкнула Герцена на ряд замечательных мыслей по вопросу о сближении естествознания с философией. Эти мысли позволили Плеханову даже сравнить герценовы «Письма об изучении природы» с энгельсовым «Анти-Дюрингом». Цитируя Герцена, Плеханов восклицает: «Под впечатлением всех этих отрывков легко можно подумывать, что они написаны не в начале 40-х годов, а во второй половине 70-х и притом не Герценом, а Энгельсом. До такой степени мысли первого похожи на мысли второго. А это поразительное сходство показывает, что ум Герцена работал в том самом направлении, в каком работал ум Энгельса, и стало-быть и Маркса. Не даром Герцен проходил ту же школу Гегеля, через которую прошли почти одновременно с ним основатели научного социализма. Разница лишь в том, — и это, конечно, весьма существенная разница,—что диалектика Герцена оставалась идеалистической, а диалектика Энгельса-Маркса была уже материалистической».*)

В то время, когда Герцен подпал под влияние Гегеля, он, как известно, разделял идеи социалистов-утопистов. Сен-Симон, Фурье, Прудон—были властителями его дум в ту эпоху. Плеханов и задался целью проследить, какое влияние оказало гегельянство на утопический социализм нашего мыслителя.

Плеханов показал, что в области теоретической философии Герцен был идеалистом. Он показал, что таким же Герцен являлся и в области философии исто-

*) Философские взгляды А. И. Герцена. Совр. мир. 1912 г. № 3.

рии. В тоже время, восприняв и впитав в себя гегелеву диалектику, Герцен старался обосновать объективную необходимость осуществления социалистических идей. Стоя на почве исторического идеализма, Герцен понятно не в состоянии был решить этой задачи, для перехода же на почву исторического материализма у него не было достаточных данных. Это повело Герцена к тяжелому кризису и разочарованию в социализме, который не в состоянии «проложить мост из теории в действительность». Герцен начинает разыскивать твердые точки, опираясь на которые он смог бы выработать определенные исторические воззрения. Он принимает за одну из таких точек русскую общину, которую использует для построения полуславянофильской теории русской самобытности. Эту полуславянофильскую теорию Плеханов рассматривает, как своеобразную попытку Герцена найти какое-либо объективное оправдание своим социалистическим идеям, т. е., как бессознательное обращение его от исторического идеализма в сторону исторического материализма. Но то было обращение робкое и половинчатое. То было, по выражению Плеханова, полупризнанием того, что бытие определяет собой мышление. «Но так как полупризнание осталось полупризнанием, оно привело и могло привести лишь к утопическому решению рокового вопроса».

Поняв бессилие исторического идеализма в решении важнейших вопросов общественной жизни, запутавшись в антиномии бытия и сознания в применении к историческому процессу, Герцен делал мучительные усилия, чтобы выбраться из дебрей противоречий, в которые он попал. Он хватался за русскую общину, но в то же время заявлял, что судьба этой общины обусловлена развитием западно-европейской революционной мысли. Он уходил от идеализма к материализму, но не продвинулся дальше «физиологических» соображений, характерных для до-марксова «естественно-научного» материализма... Явная несостоятельность его попыток приводила Герцена к мучительным переживаниям, к театральной драме, заключавшейся в том, что он, по выражению Плеханова, «чувствуя несостоятельность исторического идеализма, не мог сделаться историческим материалистом»... Этой драмой вызваны были некото-

рые его скептические, по отношению к социализму, нотки. Но то был скепсис по отношению к социализму в топическом, он знаменовал собою не отказ Герцена от социализма вообще, а обнаруживал лишь его стремление обосновать социализм на прочном научном фундаменте. На это обстоятельство, затушевавшееся в истории нашей общественной мысли, Плеханов впервые указал.

Исследуя философское и социально-политическое мировоззрение Герцена, Плеханов уделил особое место отношению Герцена к вопросу об освобождении крестьян. Отсылая читателя к интересной статье Г. В. «Герцен и крепостное право», укажем здесь на следующие основные мысли Плеханова.

Освобождение крестьян было для Герцена первым шагом по пути социалистического развития России. Взгляды Герцена на это развитие позволяют считать его родоначальником русского народничества. Выступление Герцена в этой роли и повело его к разрыву с либералами. Идеи Герцена воплотились в теорию «русского социализма» 70-х годов. Революционная молодежь этой эпохи разошлась с Герценом по тактическим вопросам, чем сделала большую логическую ошибку.

Плеханов относился к Герцену в высокой степени критически. Он обнаружил его логическую беспомощность и утопические наклонности в ряде существенных вопросов философского и политического мировоззрения. Но оценивая роль, сыгранную им в истории русской общественной мысли, Плеханов отводил ему почетное место в среде наших немногих великих мыслителей:

— Герцен был один из самых замечательных людей, выдвинутых замечательной эпохой 40-х годов. Он уступал Белинскому по логической силе ума, но превосходил его разносторонностью знаний и яркостью литературного изложения. Как политический публицист, он до сих пор не имеет у нас себе равного. В истории русской общественной мысли он всегда будет занимать одно из первых мест. И не только русской: когда будет, наконец, написана критическая история международной социалистической мысли, Герцен явится в ней как один из наиболее вдумчивых и блестящих предста-

вителей той переходной эпохи, когда социализм стремился сделаться «из утопии наукой.»*)

От Герцена обратимся к Белинскому и Чернышевскому.

О Белинском Плеханов выразился как то, что он принадлежит к числу тех людей, которых надо или горячо любить, или жестоко ненавидеть.***) Приходится ли говорить о том, что Плеханов относился к неистовому искателю правды и пламенному борцу за справедливость с чувством горячей любви?

Плеханов любил Белинского прежде всего потому, что чувствовал в нем родственную себе натуру. Г.В., как известно, был дальним родственником Белинского. Но гораздо ближе нежели их родство по крови, было родство Белинского и Плеханова по духу. Психические организации обоих мыслителей были чрезвычайно близки друг другу.

Страстность была основным элементом души Белинского. Она была, по его собственному выражению, источником его мук и радостей. Таким же основным элементом психики, таким же источником мук и радостей была страстность у Плеханова. Они оба—и Белинский и Плеханов—были такими страстными полемистами, равных которым не знает история русской общественной мысли. Если сравнить между собой такие разные по своему содержанию, такие далекие друг от друга по своему общественному значению и по эпохе, обусловившей их появление, документы как, скажем, письмо Белинского к Гоголю и статьи Плеханова, направленные против Бернштейна, то—несмотря, повторяю, на огромную внешнюю разницу отделяющую эти произведения друг от друга, временами кажется, что они писаны одной и той же рукой, одним и тем же пером.

С каким восторгом и упоением говорил Белинский о блаженстве, которое заключается в том, чтобы сказать „какому-нибудь гению в отставке без мундира, что он смешон и жалок своими детскими претензиями на

*) Герцен—эмигрант. История русской литературы XIX века, под ред. Овсяннико-Куликовского. Т. III.

**) О книге С. Ашевского. Совр. мир. 1911 № 5.

великость..., сказать какому-нибудь ветерану, что он пользуется своим авторитетом на кредит, доказать какому-нибудь литературному учителю, что он близорук, что он отстал от века“... Посмотрите же с каким энтузиазмом осуществлял Плеханов на протяжении всей своей жизни это низвержение идолов, это свержение кумиров, о котором Белинский говорил, как о „блаженстве неизъяснимом, сладострастии безграничном“... Каким „блаженством неизъяснимым“ было для Плеханова развенчание Михайловского, Кареева, Богданова, Шмидта, Бернштейна, Тихомирова, Воронцова, Кривенко, Струве, Артура Лабриолы, десятков других больших и маленьких божков, гениев в отставке, литературных ветеранов, обанкротившихся учителей...

„Я буду постоянно бесить их, выводить из терпения, дразнить“,—говорил Белинский о своих врагах, „бой мелочной, но все же бой; война с лягушками, но все же не мир с баранами“. Разве не так действовал Плеханов, с неослабной энергией всю жизнь воевавший со всякого рода лягушками, квакавшими по адресу марксизма или его позорившими своим лягушечьим подходом к величественной теории диалектического материализма—с разного калибра философскими, социологическими и прочими карликами.

Попробуйте собрать бесчисленные памфлеты Плеханова, его публицистические статьи, его полемические фельетоны, его речи на конгрессах и съездах, разве не со спокойной совестью вы поставите в качестве эпиграфа к этой доброй половине плехановского литературного наследства, известные слова Белинского: „Я рожден для печатных битв..., мое призвание, жизнь, счастье, воздух, пища—полемика“?

Открывая второй съезд Партии, Плеханов так и воскликнул, что ему хочется жить, «чтоб продолжать борьбу». «В этом и заключается весь смысл нашей жизни»...

Я позволю себе привести некоторые из отзывов, характеризующих наших мыслителей при их столкновении с противниками, некоторые зарисовки, относящиеся к моментам их схваток с врагами:

— Затронутый, он вдруг выросал, слова его лились потоком, вся фигура его дышала внутренней энер-

гией и силой, голос по временам задыхался, все мускулы его лица приходили в напряженное состояние... Он напал на своего противника с силой человека власть имеющего, мимоходом играл им как соломинкой, издевался, ставил его в комическое положение.

— Что с первого раза обращало на себя внимание в нем—это его логика, его изумительная диалектика, которой он управлял как первоклассный фехтовальщик шпагой, без малейшего, видимого труда, шутя выбивая оружие из рук противника, шутя точно играючи бросая свои отточенные мысли...

— Да, это был сильный боец! Он не умел проповедывать, поучать, ему надобен был спор. Без возражений, без раздражения он не хорошо говорил, но когда он чувствовал себя уязвленным, когда касались до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прерываться, тут надобно было его видеть: он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль.

— Он не только мыслитель; по темпераменту он также воин: он трибун и публицист. И он порывается на баррикаду, но его «баррикада»—трибуна оратора и борца...

Я воспроизвел несколько отзывов о Белинском и Плеханове, и разве не кажется странным, что эти отзывы о двух лицах, живших в разные исторические эпохи, бывших идеологами различных общественных групп? Разве не может показаться, что речь идет об одном лице—так много общего было в духовной организации этих двух страстных воинов, двух неистовых борцов за счастье народа.*)

Герцен назвал как-то Белинского фанатиком, человеком экстремы. А сколько раз говорили о фанатике Плеханове, о его нелепых крайностях, когда он выступал твердокаменным защитником марксистских позиций, порывая, когда считал это нужным, со своими ближай-

*) Из приведенных четырех отзывов первый и третий относятся к Белинскому и принадлежат Панаеву и Герцену, а второй и четвертый относятся к Плеханову и принадлежат Потресову и Аптекману.

шими друзьями, перенося свои общественные расхождения даже в плоскость личных отношений и отказываясь именовать товарищами тех, с кем расходился во взглядах.

„Я жид и с филистимлянами за один стол не сажусь“, повторял Плеханов вслед за Белинским.

Белинский умел смертельно ненавидеть своих врагов и заявлял, что любит человечество по м а р а т о в с к и.

„Я начинаю любить человечество маратовски, говорит он:—чтобы сделать счастливою меньшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную“.

М а р а т о в с к а я л ю б о в ь к человечеству руководила и Плехановым, когда он говорил в одном из своих писем: „Не щадите наших политических врагов; они не щадят нас... Наша борьба есть борьба на смерть; давите голову змеи, пока можете давить ее“.*)

Плеханов любил человечество маратовски и потому он органически не понимал толстовской любви к людям, всеми фибрами души восставал против нее, возмущался теми, кто, подобно русскому поэту безвремения, одинаково восторженно славит „голубку и ястреба, риксада и бастилию, кокотку и схимника“...

„Как часто ссылаются на любовь противники социализма!“,—говорит Плеханов в своем очерке об Ибсене,—„как часто упрекают социалистов за то, что л ю б о в ь к эксплуатируемому родит ненависть к эксплуататорам! Добрые люди советуют л ю б и т ь всех: и мух, и пауков, и угнетателей, и угнетенных“... Плеханов возмущался этим опошлением великого начала любви. Он знал, что любовь к угнетенным неразрывно связывается с ненавистью к угнетателям: он, подобно Белинскому, любил человечество м а р а т о в с к и. „Люди экстремы“,—Белинский и Плеханов имели мужество делать и самые крайние выводы из своей маратовской любви к человечеству. Они умели иногда заговаривать и о г и л ь о т и н е.

Два эпизода.

Из жизни Белинского. Однажды на вечеринке у одного петербургского литератора зашел спор

*) Из письма к В. И. Ленину от 26 августа 1901 года.

о письме Чаадаева. Белинский запротестовал против того возмущения, которое высказывалось спорящими по поводу выступления Чаадаева. Он указывал, что в странах образованных совсем бы не обиделись на слова Чаадаева. На это присутствовавший здесь магистр Петербургского университета с неподражаемым самодовольством заявил: „В образованных странах есть тюрьмы, в которые запирают безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит..... и прекрасно делают“..... Белинский вырос,—рассказывает бывший очевидцем спора Герцен. Он был страшен, велик в эту минуту, скрепив на больной груди руки и глядя прямо на магистра, он ответил глухим голосом: „А еще в более образованных странах бывает гильотина, которой казнят тех, которые находят это прекрасным“. Сказавши это, он бросился на кресло изнеможенный и замолчал. При слове „гильотина“ хозяин побледнел, гости обеспокоились, сделалась пауза. Магистр был уничтожен....

Из жизни Плеханова. Однажды на одном эмигрантском собрании, споря с анархистами, Плеханов заявил, что каждый социал-демократ должен быть террористом à la Робеспьер. Мы не станем подобно социалистам-революционерам,—сказал он,—стрелять теперь в царя и его прислужников, но после победы мы воздвигнем для них гильотину на Казанской площади. Не успел Плеханов закончить этой фразы, как среди жуткой тишины переполненной залы раздался отчетливый возглас: „Какая гадость!“ Противники Плеханова негодуя бросали по его адресу: „Позор! Якобинцы! Вешатели!“ Г. В. побледнел, посерел, смешался. Его поклонники бурно аплодировали...*)

Итак, и Белинский и Плеханов умели заговаривать о гильотине. Но за суровыми, жестокими словами их таилась такая горячая любовь к обездоленной народной массе, такая крепкая преданность интересам эксплуатируемого и угнетаемого человечества, до которой очень далеко сантиментальной, слащавой любви тех, которые одинаково пекутся «о пауках и о мухах»...

Разве можно крепче и благороднее любить человечество, нежели Белинский, восклицавший: «Что мне

*) Об этом эпизоде с некоторыми вариациями рассказывают в своих воспоминаниях В. А. Поссе и Г. Сандомирский.

в том, что живет общее, когда страдает личность? Что мне в том, что гений на земле живет в небе, когда толла валяется в грязи? Что мне в том, что я понимаю идею, что мне открыт мир идей в искусстве, в религии, в истории, когда я не могу этим делиться со всеми, кто должен быть моими братьями по человечеству?»...

А Плеханов? Он отлично понимал, что добродетельные мещане будут находить у з к о й его любовь к рабочему классу и жестоким его отношение к врагам пролетариата. И он бросал по адресу этих лицемеров и филистеров:

— Говорят: зачем же защищать интересы одного только рабочего класса? Это узко. Надо защищать интересы всего человечества. Но говорить так, значит играть словами. Я спрошу людей, занимающихся этой игрой как чем-то очень серьезным: о каком „человечестве“ говорите вы? Если о трудящемся человечестве, если о тех, которые, трудясь сами, не сидят ни на чьей шее, то их интересы, говоря вообще, совпадают с интересами рабочего класса. А если вы говорите о тех, которые не могут существовать, не эксплуатируя чужого труда, подобно тому, как паразит не может жить не высасывая чужих соков, то я позволю себе усумниться в том, чтобы люди, стремящиеся к добру и истине, могли принимать к сердцу интересы э т о г о будтобы человечества.*)

Один из наиболее выдающихся историков русской литературы, покойный С. А. Венгеров назвал Белинского великим сердцем. Как великое сердце, история русской общественной мысли давно занесла Белинского в пантеон своих великих. Это было сделано еще задолго до Плеханова. Плеханов же ничего нового не внес в прочно сложившееся представление о „неистовом Виссариионе“, как о человеке исключительной моральной мощи и кристального благородства. Те места в работах Плеханова о Белинском, где он говорит о нем, как о великом сердце, имеют для нас лишь автобиографический (по отношению к Плеханову) интерес: они выявляют то созвучие душ, на котором мы останавливались выше.

*) В. Г. Белинский. Статья в истории русской литературы XIX века. Изд. Мир. Т. II.

Не случайно многострадальная тень В. Г. Белинского всю жизнь находилась пред взором Г. В. Плеханова. Не случайно она витала над его смертным одром и не случайно последней волей Плеханова было — покоиться рядом с останками Белинского. Но не только могилы Белинского и Плеханова находятся одна около другой, — мы храним благодарную память о двух благороднейших энтузиастах, которых отделяет друг от друга целая историческая эпоха, но имена которых связались в нашем сознании, как имена людей, — у которых было великое сердце.

Если мы выше сказали, что Плеханов не внес нового в сложившееся представление о моральном облике Белинского, то надо признать, что он сделал очень много для уяснения того места, которое принадлежит Белинскому, как мыслителю, как родоначальнику русских просветителей, как человеку не только великого сердца, но и гениального ума. Своими исследованиями Плеханов сделал чрезвычайно много для уяснения общественной ценности Белинского. Он установил ряд новых точек зрения на определенные моменты в творчестве Белинского и рассеял ряд предрассудков, укоренившихся в нашей литературе в отношении его.

В качестве одного из таких моментов следует раньше всего указать на пресловутый вопрос об отношении Белинского к российской действительности, в свою очередь упирающийся в более общий вопрос о влиянии, оказанном на Белинского философией Гегеля.

Хотя еще представление о Белинском сводилось обыкновенно к тому, что Белинский, увлекшись гегелевской системой, ее принципом разумности всего действительного, стал приверженцем современной российской действительности. Потом же, испугавшись тех выводов, которые он сделал из гегелевой философии и которые привели его в лагерь охранителей и апологетов режима, Белинский «раскланялся с философским колпаком» Гегеля, порвал с его системой и стал в оппозицию социально-политическому строю России.

То обстоятельство, что философия Гегеля заставила Белинского капитулировать пред гнусной российской

современностью, обыкновенно истолковывалось в русской критической литературе, как показатель некоторой логической слабости гениального критика, его неумения справиться с системой великого немецкого идеалиста.

Одним из наиболее плодотворных результатов работы Плеханова в области изучения Белинского и является разрушение этого трафарета.

В развитии мирозерцания Белинского или в его умственной драме, как он выражался, Плеханов насчитывал три акта: 1) — абстрактный идеал и фиктеанство; 2) — примирение с „действительностью“ под влиянием „абсолютных“ выводов гегелевой философии; 3) — восстание против „действительности“ и переход частью на отвлеченную точку зрения „личности“, частью на конкретную точку зрения гегелевой диалектики. „Четвертый акт этой драмы, — говорит Плеханов, — начался полным разрывом с идеализмом и переходом на материалистическую точку зрения Фейербаха. Но рука смерти опустила занавес, после первых же сцен этого акта“.*)

Первый период в развитии Белинского характеризуется его увлечением философией Фихте с ее игнорированием действительности во имя абстрактного идеала. Фихтеанство Белинского было рождено теми социально-политическими условиями, которые окружали Белинского. Гнетущая, безнадежная действительность николаевского царствования и мучительное сознание своего бессилия по отношению к ней, заставило Белинского найти выход в том, чтобы «вернуться спиной» к этой самой действительности. Этот выход ему указала фиктеанская философия, об'являющая действительную жизнь призраком. Однако пылкий ум и мятущаяся душа Белинского не могли надолго успокоиться на лоне абстрактного идеала Фихте. Белинский разочаровывается в фиктеанстве, за которое он, по его собственному выражению, уцепился в поисках душевной гармонии.

Тогда начинается второй период его умственного развития, характеризующийся тем, что Белинский под-

*) *ibidem*

пал под мощное влияние гегелева ученья. Как мы уже говорили, этот период в жизни Белинского окутан множеством предрассудков и неправильных представлений, которые были вскрыты и выявлены Плехановым.

В момент перехода от фиктеанства к гегельянству Белинский терзался вопросами общественного порядка,—вопросами смены одного исторического периода другим и роли случайности в общественном процессе. Система Фихте оказалась при разрешении этих вопросов бесплодной и потому Белинский порвал с нею. Система Гегеля устанавливала внутреннюю необходимость общественных явлений, она развертывала захватывающую своей логической стройностью картину закономерно осуществлявшегося исторического процесса, она провозглашала знаменитый принцип разумности всего действительного.

Белинскому казалось, что эта система дает ответ на все „проклятые вопросы“, которыми он терзался, она открыла ему „новый мир“, она дала ему возможность взглянуть по иному на ту самую российскую действительность, пред которой он раньше или беспомощно негодовал, или пытался ее игнорировать. Белинский становится апологетом действительности, ибо действительность всегда разумна. Он пишет свои известные статьи о Бородинской годовщине и о Менцеле, в которых выступает в роли проповедника смирения пред действительностью.

В предыдущем периоде своего развития Белинский старался—говорит Плеханов...—разрешить мучившее его противоречие между абстрактным идеалом и конкретной действительностью посредством приравнения к нулю одной из сторон этой антиномии: он объявил призраком всякую действительность, противоречащую идеалу. Теперь он поступает как раз наоборот: теперь он приравнивает к нулю другую сторону антиномии, т. е. объявляет призраком всякий идеал, противоречащий действительности.*)

*) Белинский и разумная действительность. За 20 лет. Изд. 3-е. стр. 187.

Белинский сделал со свойственной ему страстностью крайние выводы из системы Гегеля. Значит ли это, что он плохо понял ее, как полагают многочисленные критики Белинского, начиная Герценом и Тургеневым, кончая Скабичевским и Волюнским? Отнюдь нет, утверждает Плеханов. Плеханову, как никому из историков философии, удалось выявить в своих работах двойственный характер гегелевского ученья: его консервативную систему и его революционный метод. О Белинском нельзя утверждать, что он не понял учения Гегеля. Он в полосу своего примирения с действительностью концентрировал внимание лишь на консервативной стороне гегельянства—на той самой стороне, которую выдвигал на первый план и сам Гегель. По мере того, однако, как Белинский углубился в сущность философии Гегеля, он начал понимать и революционную, диалектическую сторону этой философии. Тогда наступает конец его примирению с действительностью, он «раскланивается с философским колпаком Егора Феодоровича» (ироническое название Гегеля) и переходит в оппозицию действительности. Был ли этот перелом в мирозерцании Белинского достигнут разрывом с философией Гегеля? Да, отвечает шаблон, установившийся в нашей критической литературе. Нет, доказывает Плеханов.

Плеханов показал, что, раскланявшись с философским колпаком Гегеля, Белинский продолжал оставаться гегельянцем, но гегельянцем, для которого гегелево ученье являлось уж не санкцией всякой, даже самой гнусной, действительности, а было алгеброй революции. Белинский перестает с этого момента отождествлять действительное с существующим. Он знает, что действительность бывает и отжившей, тогда она не разумна,—тогда она должна уступить свое место действительности разумной, действительности завтрашнего дня. Таким образом, в развитии Белинского начался тот период, который Плеханов назвал третьим актом его умственной драмы. «Если Белинский в первой фазе своего развития жертвовал действительностью ради идеала, а во второй идеалом ради действительности, то в третьей и последней фазе он стремился примирить идеал с действительностью посредством и де и

развития, которая дала бы идеалу прочное основание и превратила бы его из «абстрактного» в «конкретный».*)

Идеалистическая система Гегеля оказалась не в состоянии помочь Белинскому в разрешении тех вопросов, которые предстали пред ним в эту новую критическую эпоху его жизни. Он пришел к отрицанию действительности, но он оказался бессильным конкретизировать это отрицание. Он не мог найти в обществе той силы, которая могла бы превратить отрицание действительности в исторический факт. Он не мог, одним словом, исторически примирить действительность с идеалом. Но его бессмертная заслуга в том, что он первым в истории русской общественной мысли поставил эту задачу в порядке дня. В том же, что он оказался не в состоянии эту задачу решить,—вина не Белинского, а общественных отношений его эпохи.

В поисках ее решения он бросался из стороны в сторону. Он обращался на время к социализму, однако, страстное увлечение социализмом вскоре сменяется у него жестоким разочарованием в социалистической теории, которая была в его время насквозь утопической и следовательно не могла дать ему той исторической базы отрицания действительности, которую он так напряженно искал.

Последней попыткой неистового искателя найти дорогу, ведущую из области абстрактного идеала в область исторической действительности, было его приближение к материализму Фейербаха. Но мы знаем, как мало могло помочь Белинскому в его поисках феербахянство и как мало оно ему в действительности дало.

Белинский так и не решил этой задачи. Однако, он ее поставил во всю ширь и над ее решением мучительно бился долгими годами, что совершенно не нашло себе надлежащей оценки в нашей критической литературе.

Плеханову принадлежит неотъемлемая заслуга того, что он первым указал на этот „самый главный предмет, святая святых“ умственной деятельности Бе-

*) Ibid, стр. 203.

линского. Г. В. сделать это было тем легче, что в его распоряжении была мощная теория диалектического материализма, дававшая ответ на те вопросы, которыми терзался Белинский и что он жил в эпоху, когда в русской общественной жизни можно было уже узреть тот элемент исторического обновления общества, который еще отсутствовал во время Белинского. В этом отношении родоначальник русских марксистов был счастливее родоначальника русских просветителей. Но он, который первым посмотрел на историю умственного развития Белинского, с точки зрения конкретных взглядов новой исторической эпохи, считал долгом сугубо подчеркнуть то обстоятельство, что „и до сих пор каждый новый шаг вперед, делаемый нашей общественной мыслью, является новым вкладом для решения тех основных вопросов общественного развития, наличность которых открыл Белинский чутьем гениального социолога...“ Плеханов был восторженным поклонником Белинского не только потому, что Белинский—великое сердце, но преимущественно и потому, что видел в нем центральную фигуру во всем ходе развития русской общественной мысли...

IV.

На ряду с В. Г. Белинским,—родоначальником русских просветителей, предметом особой любви и уважения со стороны Плеханова, являлся—мы это уже указали—Н. Г. Чернышевский,—самый выдающийся представитель наших просветителей. Плеханов в течение многих лет старался проникнуть в творческую лабораторию Чернышевского, определить те пути, по которым развивалась его мысль, выявить те общественные предпосылки, которые обуславливали собою его идеи, установить то место, которое принадлежит Чернышевскому в истории русской общественной мысли. Питая, по его собственному заявлению, благоговейное уважение к Чернышевскому, Плеханов подходил к его учёному в высокой степени критически. Чернышевский был последователем Фейербаха, Плеханов был продолжателем Маркса. Этим определяется его отношение к творчеству великого русского просветителя. „Я не от-

вергаю наследства Чернышевского,—заявлял Плеханов,—но я и не могу довольствоваться им. Я дополняю его теми драгоценными приобретениями, которые удалось сделать человеку, шедшему по одной дороге с Чернышевским, но ушедшему дальше его, благодаря более благоприятным обстоятельствам своего развития*. *)

В Чернышевском Плеханов больше всего ценил философа. Философское наследство Чернышевского Г. В. почти безоговорочно принимал.

Чернышевский был фейербахианцем, при этом таким, который по материалистически толковал неясные и оставляющие сомнение места в учении своего учителя. В основе его философских представлений лежит идея единства человеческого организма. Он неразрывно связывает между собой субъективную и объективную сторону явлений, но их, однако, не отождествляет. Его гносеологические принципы находятся на высоте современного научного материализма, под его теоретико-познавательными рассуждениями может подписаться материалист и в наши дни. Единственное уязвимое место в философском мирозерцании Чернышевского,—и в этом отношении он был учеником своего учителя,—его понимание диалектики: подобно Фейербаху он недооценил диалектический метод. Он ограничивал ценность этого метода его требованием всестороннего изучения действительности, и упускал из виду главную отличительную черту диалектики, гениально выявленную Марксом—Энгельсом: сознание зависимости хода идей от хода вещей. В недостаточно ясном понимании диалектического метода—ахиллесова пята философских воззрений Чернышевского. Но это слабое место в философском мирозерцании Чернышевского не умаляло в глазах Плеханова той роли, которую сыграл в истории русской общественной мысли Чернышевский, как философ. Плеханов, если не ошибаюсь, был первым из исследователей Чернышевского, который указал на эту сторону в творчестве великого русского просветителя и который оценил Чернышевского, как философа.

*) Н. Г. Чернышевский. Изд. «Шиповник» СПб. 1910, стр. 17.

Определяя место, которое принадлежало Чернышевскому в истории нашей философской мысли, Плеханов говорил: „Чернышевского знают у нас как публициста, отчасти как историка литературы..., но его совсем не знают как философа. Это объясняется, во-первых, тем, что он мало писал в философии, а во-вторых, его манерой изложения своих мыслей. Он писал так просто и ясно, что некоторые его читатели наивно отказывались именно по этой причине признать за философию то, что он излагал в статье „Антропологический принцип“... И до сих пор, если вы спросите среднего русского „интеллигента“, были ли философами Лавров и Владимир Соловьев, вы тотчас услышите: конечно, были. А если вы скажете такому „интеллигенту“, что Чернышевский тоже был философ и притом гораздо более глубокий, нежели Лавров и Соловьев, то вы приведете его в немалое изумление. Философия Чернышевского была недостаточно туманна“...*)

Я с тем большим удовольствием процитировал приведенные слова, что они не только характеризуют привычное пренебрежение, с которым относились у нас к философским взглядам Чернышевского, но также и потому, что они с полным правом могут быть применены и к самому Плеханову.

Плеханов нам не оставил специальных философских трактатов, он даже никогда не занимал университетской кафедры, но по характеру своего ума, по своим теоретико-познавательным способностям он был одной из самых тонких философских организаций, которые встречаются в истории нашей общественной мысли. Чернышевский говорил о Лессинге, что он «по устройству головы» был философом. Эти слова будут уместно повторить и о самом Плеханове. «По устройству головы» он был глубоким философом. В этом нас убеждают посвященные философским проблемам статьи Плеханова, даже отдельные страницы и строчки, вкрапленные в его работы общего характера.

Но не только одна участь—игнорирование профессиональными гелертерами—позволяет провести параллель между Чернышевским и Плехановым, как фило-

*) Н. Г. Чернышевский, стр. 147—48.

софами. Есть много общего и в их отношении к философским проблемам. Они оба чрезвычайно любили философию, исключительно высоко ставили занятия ею. Чернышевский говорил, что тому, кто раз заинтересовался философией, будет уже трудно оторваться от ее великих вопросов. Так же думал и Плеханов—доказательство тому в тех многочисленных экскурсах в область философии, которые он непрерывно совершал при всяком представившемся случае.

Чернышевский и Плеханов философию неразрывно связывали с практической жизнью. Для Чернышевского философия была теоретическим базисом практических требований. Тем же она была и для Плеханова. Г. В. потому не раз возмущался теми практиками нашего социалистического движения, которые третируют философию, как бесплодное теоретическое умствование. В предисловии к своему сборнику „Критика наших критиков“ он писал: „отношение наших „практиков“ к философии всегда напоминало мне отношение к ней прусского короля Фридриха—Вильгельма I. Как известно, этот мудрый монарх оставался совершенно равнодушным к философской проповеди Христиана Вольфа до тех пор, пока ему не объяснили, что Вольфов принцип достаточного основания должен вызывать побеги солдат со службы. Тогда солдатский король приказал философу в 24 часа оставить прусские владения под страхом смертной казни через повешение... Наши „практики“ готовы мириться со всякой данной философией до тех пор, пока им не покажут, что она мешает осуществлению их практических целей... Нынешний идеолог рабочего класса не имеет права быть равнодушным к философии“.*)

Чернышевский и Плеханов не отрывали философии от жизни, они их неразрывно связывали. Потому они совлекали с философии ветхого Адама метафизики и софистических ухищрений. Чернышевский зло подтрунивал над теми философами, речь которых туманна и головоломна, и противопоставлял им простые и ясные слова. Одна из отличительных черт Плеханова—здесь еще один элемент родства между философскими мане-

рами обоих мыслителей—его простой и понятный и в то же время строго-научный, далекий от вульгаризации подход к проблемам философии. Эта черта выявляется не только в произведениях Плеханова, она производила неотразимо сильное впечатление и на собеседников Г. В. П. И. Лепешинский вспоминает свою первую встречу с Г. В. „Меня необычайно поразила та смелость и простота, с которой он утверждал некоторые свои философские постулаты... Да,—выкраивал я, как сейчас помню, какую то свою мысль,—но все-таки между той материей, из которой состоит камень, и той, модусом, которой является человек, есть качественная разница. То есть я хочу сказать, что есть материя и материя...

— В чем разница?—вскинул, на меня свои умные глаза Плеханов.

— Человек мыслит, с ударением подчеркнул я, а камень э... э... э...

— И камень мыслит,—спокойно сказал Плеханов. —Как так, разинул я от удивления рот... Плеханов стал пояснять, что количество переходит в качество, но и обратно, качество разложимо на количественные моменты. Мысль есть сложное движение и складывается из тех же элементов движения, которые определяют энергетическое состояние и камня. И если кто-нибудь хочет принять мысль за „субстанциональное“ свойство материи, то он обязан приписать и камню то же свойство.—Все это было очень просто, азбучно, элементарно, но мое предрассудочное отношение к таким страшным словам, как „вульгарный панпсихизм“ и т. п. мешало мне до этого момента дерзать на такого рода философскую „свистопляску“, какую допустил только что сам Георгий Валентинович Плеханов“.

Плеханов ядовито острил, что иной русский интеллигент не считает Чернышевского философом потому, что его философия была недостаточно туманна. Но благодаря той же ли „недостаточной туманности“ философских рассуждений Г. В., до сих пор оспаривается его право быть названным философом?...

Вернемся к Чернышевскому.

Наряду с философскими взглядами Чернышевского Плеханов весьма ценил и его эстетику. Эстетический кодекс Чернышевского оказал несомненное влияние на

*) Критика наших критиков. СПб. 1906 г., стр. V.

Г. В., который, сочетав материалистические взгляды Чернышевского на искусство с марксистским методом, построил свою эстетическую теорию. Этого момента мы здесь, однако, не развернем, так как касаемся его в очерке об отношении Плеханова к вопросам искусства.

Итак не будет ошибкой сказать, что Плеханов в основном принимал философские взгляды Чернышевского и его эстетическую теорию. Иным было отношение Г. В. к историческим и политико-экономическим рассуждениям того же мыслителя.

На исторические воззрения Чернышевского непосредственность его учителя,—слабые места в системе Фейербаха,—наложила особенно явственный отпечаток. Поэтому, высказывая нередко здравые материалистические мысли касательно исторического процесса, Чернышевский в основных своих исторических взглядах является идеалистом. Моменты материализма и идеализма переплетаются в его исторических рассуждениях, причем всегда доминируют взгляды идеалистические. Для марксиста Плеханова исторические взгляды Чернышевского были таким образом ступенью, давно превзойденною гениальными основоположниками диалектического материализма.

В такой же мере превзойденной ступенью являлись для Плеханова и политико-экономические взгляды Чернышевского. Чернышевского—политико-эконома Плеханов критиковал очень обстоятельно и гораздо более сурово нежели Чернышевского—историка. К этому его принудила та историческая обстановка, в которой он опубликовал свои работы о Чернышевском. То было время ожесточенной полемики с народниками, пытавшимися в своей борьбе с марксизмом опереться на авторитет Чернышевского. Плеханов и показал, как несостоятельна попытка противопоставить экономическим воззрениям Маркса взгляды великого русского просветителя. Экономическая теория Маркса базируется на фундаменте научного социализма, экономические взгляды Чернышевского вытекают из утопического социализма. Воспринимать их, значит возвращаться от Маркса к утопии... Плеханов внимательно изучил духовное наследство Чернышевского и дал ему историческую оценку. Он

обнаружил многие слабые места во взглядах Чернышевского, застрявшего в своем развитии, на пути от Фейербаха к Марксу. Но он показал, что в основном Чернышевский поднялся на такие высоты, до которых так и не добрались эпигоны русского народничества,—мнимые продолжатели дела Чернышевского.

Плеханов считал Чернышевского одним из своих предков, одним из предтеч молодого русского марксизма. Он утверждал, что русские марксисты имеют все данные для того, чтобы чувствовать себя близкими к Чернышевскому, ибо только они выступают хранителями лучших заветов самого крупного из наших просветителей.

* * *

Фридрих Энгельс произнес когда-то известную фразу: „Мы немецкие социалисты гордимся тем, что ведем свое происхождение не только от Сен-Симона, Фурье и Оуэна, но и от Канта, Фихте и Гегеля“.

Плеханов вел свою родословную, подобно Энгельсу, по двум линиям. Он был горд сознанием того, что является продолжателем дела основоположников революционного марксизма и вместе с тем наследником лучших русских просветителей. От Белинского—через Чернышевского—к Плеханову тянется нить, связывающая три вершины русской общественной мысли.

ПЛЕХАНОВ